

Введение

- Шанин Теодор. Джеймс Скотт и социология смысла
- Благодарности
- Введение

Шанин Теодор. Джеймс СКОТТ И СОЦИОЛОГИЯ СМЫСЛА

Дж. Скотт определенно принадлежит к академической элите англосаксонских обществоведов, но в то же время часто выглядит на их фоне «белой вороной». Дело здесь не в наигранной академической эксцентричности, любезной многим людям этого круга. Он стал таким, каким стал, просто будучи самим собой. Из офиса профессора политических наук в Йельском университете — поставщике президентов США — он отбывал прямо на свою ферму в отдаленном селе, где соседи знают и уважают его в основном как искусного овцевода и отличного парня. В тот период жизни, когда преуспевающие ученые оседают в комфорте кабинетов и комитетов, он чередует свою академическую деятельность с продолжительными периодами «работы в поле», которым для него стала Юго-Восточная Азия. Там он осваивал новые языки и непривычные условия природы и быта, а главное, вживался в повседневные условия существования местных жителей и сообществ. Результаты его полевых исследований, которые в «западной» дисциплинарной традиции могли считаться антропологическими (а в российском случае — этнографическими), всякий раз становились чем-то гораздо большим, нежели доскональным описанием небольшого сообщества. Содержащиеся в них оригинальная концептуализация и анализ проливали новый свет на широкие аспекты человеческих и общественных отношений, часто открывая новое в их основах. Более того, для этих работ характерными стали их все возрастающие охват и значимость.

Для англосаксонских гуманитарных наук каждая из книг Скотта была событием, с влиянием, идеями и новыми понятиями, распространяющимися далеко за рамки академического сообщества. Эти книги отличают по меньшей мере пять общих черт. Во-первых, исчерпывающие данные, полученные прямым или косвенным путем, связаны в них с внушительными концептуальными и аналитическими изысканиями. Во-вторых, даже сложные аналитические построения изложены просто, выражены и закреплены посредством мощных и ярких образов и понятий. В-третьих (и в продолжение предыдущего), в этих работах присутствует особое эстетическое измерение, соединяющее аналитическое и художественное в них. Это нашло свое выражение в том, что Зигмунт Бауман назвал особой живостью (*vibrance*) стиля Скотта[1]. Далее, эти работы демонстрируют преемственность в развитии общей центральной темы — сложной взаимозависимости динамики социальной жизни и разнообразных смыслов, выраженных в ней. Наконец, каждая из книг выходила в свет только тогда, когда автору было что сказать действительно нового.

Что до их общего содержания, то работы Скотта олицетворяют высочайший уровень современного расцвета того феномена, который часто называют «качественной» методологией. Главная граница между социальными исследователями, их дисциплинами, методами и традициями пролегает между теми, кто стремится к познанию путем квантификации, математизации и связанных с ними процедур, и теми, кто старается продвинуть вперед понимание человеческих обществ путем их систематической типизации, основанной преимущественно на «шире-чем-количественном» сравнении — «качественной» или «интерпретативной» методологии. В этом случае процесс познания фокусируется на осознании смыслов и на развитии понятий, которые становятся новыми базовыми инструментами и исходными эталонами общественного анализа, как, например, «моральная экономика», «сила слабых», «искусство сопротивления», «мѣтис» (mētis)[2]. Само собой разумеется, что два этих подхода не исключают, а могут дополнять друг друга. Не являются они и простыми «этапами» в деле добывания знаний (где «качественное» исследование — это не что иное, как «пока что» недоразвитое «количественное»). По крайней мере отчасти они обращаются к разным вопросам, отбирают данные разных типов и базируются на них, задают разные параметры вывода. В случае Скотта все это окрашено фундаментальным гуманизмом содержания и методов, равно как и критическим видением общества и способов его самовосприятия.

Книгой, которая впервые сделала Скотта широко известным и дает хорошее представление о его персональном стиле, стала «Моральная экономика крестьянина»[3]. В ней непосредственные знания о крестьянских семьях и сообществах Юго-Восточной Азии были соединены с анализом социальных экономик выживания в целом и особой для них системы этики, отражающих, определяющих и структурирующих их повседневную жизнь. В этой книге автор не придерживается границ какой-либо одной дисциплины и ее частного языка, но использует социологию, антропологию, социальную психологию, политическую науку, экономику и историю. Соответственно, в ней введены в оборот понятия и термины, взятые у различных ученых и дисциплин, часто примененные по-новому. Так, само название книги было заимствовано из исследования «моральной экономики» нарождающегося рабочего класса Великобритании XVIII-XIX вв., осуществленного И.П. Томпсоном; анализ рыночных отношений, дисциплинирующих и реструктурирующих посредством голода и страха перед безработицей, отсылает к работе К. Поляни, и т. д.[4] Путем анализа «того, что вызывает их гнев» из-за нарушения общинных норм взаимобмена и осознаваемого ими универсального права на пропитание, выявлены предпосылки крестьянских бунтов и восстаний. Что до видения сельских жителей, книга бросала вызов как романтизированным пасторальным описаниям сельских сообществ, так и вульгарному марксизму, рассматривающему крестьян как мелкобуржуазных конформистов (и как антитезис абстрактно-утопического пролетариата, безусловно революционного «по своей сути»). Место мелкобуржуазных, отсталых или просто тупых крестьян занимает эмпирически обоснованный и куда более правдоподобный образ «стоящего по шею в воде», но стратегически мыслящего о себе и о своей жизни человеческого существа, которого и природный катаклизм, и государственная политика, и местные начальники могут потопить в любой момент. Книга рассматривала ценностную < систему взаимопомощи и приличий, которая возникает в подобных обществах и поддерживает их, — социальную экономику и этику повседневного выживания их членов. В заключение делался вывод о том, когда и по поводу чего крестьяне восстают.

Следующая книга Скотта «Оружие слабых» конкретизировала и развивала идеи «моральной экономики»[5]. Поговорка крестьян Центральной Америки «Подчиняюсь, но не повинуюсь» является ключевой для моделей поведения в предельно реалистическом мышлении «слабых» перед лицом «власти». Это классические ситуации «столкновения непреодолимой силы с неподвижным объектом», рассмотренные с позиций более слабой стороны этого уравнения. Непрерывное сопротивление крестьян эксплуатации принимает различные формы в зависимости от ситуации. Только в крайнем случае оно выливается в открытый бунт, за который приходится платить необыкновенно высокую человеческую цену. Гораздо чаще это ежедневные попытки ограничить и «повернуть вспять» репрессивную власть посредством избегания, саботажа, мелких краж, притворной забывчивости или «тупости», высмеивания чужаков и т. д., формирующие фактуру крестьянского ежедневного сопротивления. Каждый крестьянин учится этому с детства и как форме сопротивления, и как способу сохранить самоуважение перед лицом сокрушительных, эксплуататорских и, как правило, безжалостных сил. Чтобы увидеть такие обычно скрытые поведенческие модели, Скотт скрупулезно проанализировал язык и содержание крестьянской речи, а также реальное поведение, часто спрятанное за фасадом демонстративных ритуалов подчинения власти имущим «силам порядка».

В своей очередной книге «Господство и искусство сопротивления»[6] Скотт развил представление об изучаемых обществах через более полное описание противоположной по отношению к «слабым» стороны и ее орудий социального контроля. В вопросах реального существования «подчиненных групп» их зависимость играет не менее важную роль, чем бедность. Однако это не игра в одни ворота. Слабые не просто бессильны, а находятся в непрерывной конфронтации, те, кто правят, одерживают победу, но редко когда — полную. В книге исследованы реальные формы господства, проведены их детальная категоризация и анализ. Здесь особо важны обычно невидимые для посторонних глаз сообщения, курсирующие между вовлеченными в них социальными группами. Показано, как действуют социальные структуры реальной власти, выходящие за рамки законодательных норм (и «официальной истории»). Понимание и анализ этого необходимы, чтобы обнаружить реальные контуры и процессы социального господства.

Скотт рассматривает общество так же, как греческий театр, где социальные страты и индивиды взаимодействуют и противодействуют, часто прячась за «масками», присущими ритуалам и культуре и играющими главенствующую роль в функционировании обществ.

При этом непрерывная конфронтация, как правило, не подразумевает попыток «уничтожить» противоположную «сторону». Скорее, это признание всеми «актерами» переплетения и множественности политических конфигураций — реальный плюрализм существования. Тонкий анализ отношений и дискурсов «актеров» помогает также обнаружить области их возможной автономии и способности к сопротивлению — культурные и социальные «базы вне» области контроля существующих властей. Восстание, когда и если оно происходит, — это взрыв открытого неповиновения, в ходе которого тайные смыслы послания, уже существующие в обществе, проступают на поверхности. Их содержание, укорененное в символах, смыслах и системах ценностей, а не просто бедность, определяют формы и результаты схватки. Восстание «говорит в полный голос о том, о чем на протяжении многих лет шептались». Вот что объясняет восторг и эмоциональный подъем

части участников этих событий, как и неспособность это предвидеть, услышать и признать другими, теми, кто существует вне интерсубъективности такого происшествия — «киевского майдана» и схожих происшествий современности городов и сел.

«Благими намерениями государства» — последняя книга, опубликованная Скоттом. В ней автор исследует современное государство и присущие ему так называемые стратегии развития[7], сходные во всем мире. Их ядром являются идеологии «высокого модернизма» при склонности к менеджериальному упрощению решений и деперсонализации его «объектов». Усиливающаяся бюрократизация, гасящая на корню спонтанные проявления социальной жизни и то, что осталось от так называемого гражданского общества, заменяет прямое познание статистическими и компьютеризованными образами чаще всего с предопределенными выводами. Проходит зачистка тех аспектов социального реализма, которые не укладываются в модели «прогресса» и академической экономики. Немногие подвергают сомнению тот факт, что социальные условия изменяются или что экономическая жизнь важна людям, но два последующих вопроса очень часто выпадают из поля зрения. Во-первых, что упускается из виду, когда используются упрощенные модели, и насколько этим искажается наше понимание реальности? Во-вторых и в прямое продолжение предыдущего, каковы корни повторяющихся ошибок и провалов современных «реформ» и «программ развития»?

В книге «Благими намерениями государства» анализируются конкретные случаи вытекающих из идеологии высокого модернизма бедствий, которые формируют мировоззрение современных государственных бюрократий. Объясняется также воздействие такого видения общества — тех шор, которые оно систематически создает. В заключении рассматриваются некоторые способы защиты от этих ошибок путем осмысления и анализа непосредственного опыта и практического человеческого знания. Понятие *мэтиса*, заимствованное Скоттом у древних греков, определило правила минимизации вреда, который наносят идеологии и программы «высокого модернизма». Эти правила включают такие простейшие, но действенные элементы, как движение маленькими шагами (так как невозможно предвидеть все последствия «программы»), скидки на неожиданное, на человеческую изобретательность (которую нельзя «спланировать» для будущего) и т. д. Само понятие трехтысячелетней давности дает интересное представление о возможностях реконструкции прошлого опыта и мысли без мультипликации неологизмов. Об остальном же книга скажет сама за себя.

Значение для России работ Скотта в целом и его последней книги, в частности, велико. Это верно в отношении социальных, экономических, педагогических и этических детерминант выживания людей и дистанции между «официальной историей» и действительностью; между «приказами сверху» и их результатами; между масками, которые носят люди-«актеры», и реальностью. В жизни России особо важны «скрытые послания», изучаемые автором в его книге о господстве и искусстве сопротивления. Самому Скотту были всегда глубоко интересны российская история и культура, и их влияние на него просматривается отчетливо. Хотя Россия никогда не была для Скотта предметом специального исследования, он определенно принимал во внимание ее опыт, и многое из того, что он писал, звучит так, как если бы он описывал развитие российского общества: его конфликты и проблемы, его

политические маски и рычаги контроля, его сельские структуры власти, сверхгосударство и повседневную жизнь. Рассказ переломного периода «Рычаги», символизировавший и выражавший устремления, надежды и неудачи хрущевской эры, как будто бы написан самим Скоттом[8].

Не менее значимыми в долгосрочной перспективе для российских социальных наук могут оказаться некоторые более общие эпистемологические вопросы, поставленные Скоттом. Пока советский академический истеблишмент официально оставался строго «марксистским», такие вопросы обсуждались только в предельно узких рамках очень выборочной интерпретации Маркса. Реально это выражалось в специфическом дуализме. С одной стороны, была абстрактная теория в гегельянском стиле и дедуктивная логика с ее собственным языком и абстрактными выводами, обязательными для всех. С другой стороны, допускались и развивались позитивистские узкоэмпирические интерпретации, в которых статистические выкладки и их упрощенные описания занимали место полноценно развитых социальных наук и, в частности, «теорий среднего уровня», способных обоюдосторонне связать теоретическую работу с эмпирическим исследованием[9]. Когда период принудительного «марксизма» закончился, российские исследователи устремились во вновь дозволенные области и формы анализа. Но эпистемологический и методологический багаж привычек мышления, создававшийся поколениями, невозможно просто оставить за бортом. Легко увидеть, что и теперь, когда марксистской терминологии часто избегают, многие базовые модели советских социальных наук в России остаются в ходу. Это особенно справедливо в отношении комбинации абстрактного теоретизирования и позитивистского собирания данных при отсутствии аналитической увязки обоих.

Работа Скотта может научить определенным альтернативам критических исследований общества. В частности, она (также) преподает урок значимости аналитической и концептуальной работы на уровне, связывающем полевые данные и сравнительный анализ с теоретизированием «среднего уровня». Что касается самой темы последней книги Скотта, она высвечивает и объясняет органическую слабость государственной политики и реформ, смещенных в сторону высокого модернизма и часто ослепленных тем, что автор назвал «государственным видением». Его рассуждения по поводу возможных способов их «лечения», которые заложены в древнегреческой идее *мётиса*, могут также оказаться весьма полезными. Это особенно справедливо, как только мы переходим от расплывчатости жаргона политиков и журналистов к повседневной жизни простых людей и к осмыслению тех результатов, которые были так точно схвачены оговоркой, ставшей поговоркой в жизни современной России, о том, что «хотели как лучше, но получилось как всегда».

Теодор Шанин,

*ректор Московской высшей школы
социальных и экономических наук,
профессор*

Благодарности

Луизе, снова, всегда

Оуэн: Что происходит?

Йолланд: Точно не знаю. Но я не хочу участвовать в этом. Это что-то вроде высылки.

Оуэн: Мы делаем шестидюймовую карту этой страны. В этом есть что-то зловещее?

Йолланд: Да не в этом...

Оуэн: Некоторые названия там совершенно загадочны и смущают...

Йолланд: Кого смущают? Эти люди смущены?

Оуэн: И мы очень тщательно приводим в порядок эти названия со всей возможной для нас точностью.

Йолланд: Кое-что при этом разрушается.

Брайан Фрайал, Переводы 2.1

Работа над этой книгой продолжалась очень долго, просто недопустимо долго. Можно было бы сказать, что ее пришлось долго обдумывать. Сказать, конечно, можно, но это неправда. Отчасти задержка объясняется почти роковым сочетанием нездоровья и административной загруженности. В остальном же она связана с разрастанием материала и тем, что в соответствии с академической версией закона Паркинсона он все более захватывал пространство моей жизни. В конце концов надо было либо решительно прекратить эту работу, либо отнестись к ней как к делу жизни.

Широта замысла книги и время, которое потребовалось на его воплощение, объясняют длинный список интеллектуальных обязательств, накопившихся на этом пути. Их полный перечень оказался бы бесконечным и едва ли возможным, если бы не то обстоятельство, что некоторым моим консультантам едва ли хотелось, чтобы их имена упоминались в связи с тем, что у меня в итоге получилось. И хотя здесь нет их имен, я тем не менее обязан этим людям. Им не удалось изменить направление моих размышлений, но я принял их замечания и постарался усилить свою аргументацию, чтобы ответить на их возражения. Других моих интеллектуальных кредиторов, которым не удалось заведомо и заранее дезавуировать

результат моей работы, я здесь назову и, хотелось бы надеяться, тем самым воздам им должное.

Теперь о некоторых моих обязательствах не перед отдельными людьми, а перед организациями. Я провел 1990/91 академический год в Берлинской Виссеншафтсколлеге, испытал на себе все гостеприимство и щедрость этого научного учреждения. Искушение пожить какое-то время в Берлине всего год спустя после падения Стены оказалось непреодолимым. После шести недель физического труда в бывшем коллективном хозяйстве на Мекленбургской равнине в Восточной Германии (альтернатива, которую я сам придумал, дабы избежать сидения в течение шести недель в классах Института Гете вместе с прыщавыми подростками) я набросился на немецкий язык, Берлин, моих немецких коллег.

Формально мое исследование продвинулось тогда незначительно, но я понимаю, что именно там обнаружились многие его плодотворные направления. Хочу особенно поблагодарить Вольфа Лепениса, Райнхарда Прассера, Иоахима Неттлбека, Барбару Сандерс, Барбару Голф, Кристину Клон и Герхарда Риделя за их необыкновенную доброжелательность. Интеллектуальные и добрые товарищеские отношения связывали меня с Георгом Элвертом, моим местным покровителем, а также с Шалини Рандериа, Габором Кланицеем, Кристофом Харбсмайером, Барбарой Лан, Митчеллом Ашем, Хуаном Линцем, Йохеном Бляшке, Артуром фон Мерен, Акимом фон Оппен, Хансом Лютером, Каролой Ленц, Гердом Шпитлером, Хансом Медиком и Альфом Лудке, которые указали мне на некоторые линии исследования, оказавшиеся наиважнейшими. И, конечно, только огромные усилия и неизменное дружелюбие Хайнца Лехлейтера и Урсулы Хесс могли привести мой немецкий к сколько-нибудь терпимому уровню.

На разных этапах подготовки этой книги мне приходилось подолгу взаимодействовать с научными учреждениями, где трудится немало людей мощного и скептически направленного ума. Они не раз заставляли меня прояснять свои аргументы, и это моя большая удача. Может быть, им и не понравится то, что получилось, но я уверен, они увидят плоды своего влияния. В Высшей школе социальных наук в Марселе я особенно хочу поблагодарить моего куратора Жан-Ньера Оливье де Сардана, Тома Бьершенка и их коллег из научного семинара. Жизнь в Вье Панье и ежедневная работа в великолепной атмосфере Ла Вьелль Шарит оказались незабываемым опытом. В Центре гуманитарных исследований при Австралийском Национальном университете в Канберре я смог показать свою рукопись большой группе гуманитариев и специалистов по Азии.

Моя особая благодарность директору Центра Грэму Кларку и его заместителю Йену МакКалману, который и пригласил меня в Австралию, а также Тони Рейдуи Дэвиду Келли, организаторам конференции «Идеи свободы в Азии», ставшей поводом для моего визита. Тони и Клэр Милнер, Ранаит (мой гуру) и Метчил Гуха, Боб Гудин и Диана Гибсон, Бен Трай Керквлит и Меринда Трай, Билл Дженнер, Йен Вильсон и Джон Уокер каждый по-своему сделали мое пребывание и праздничным, и полезным.

Эта книга, безусловно, потребовала бы еще больше времени, если бы Дик Охманн и Бетси Трауб не пригласили меня провести 1994/95 академический год в качестве стипендиата Гуманитарного центра университета Уэсли. Мои тамошние коллеги и наши совместные

еженедельные семинары интеллектуально очень взбадривали меня, в значительной степени благодаря способности Бетси Трауб блестяще представлять каждое сообщение. Там идеально сочетались возможности уединения и взаимодействия с коллегами, что было для меня очень полезным и позволило мне закончить первый вариант рукописи. Я чрезвычайно благодарен Пату Кэмдену и Джекки Рич за их бесконечную доброту. Проницательность Бетси Трауб и Хачика Толояна заметно сказались на этой работе. Я благодарен также Биллу Коэну, Питеру Рутланду и Джудит Голдстейн.

В 1994—1995 гг. у меня не нашлось бы времени для продолжения этой работы, если бы не удалось получить гранты Фонда Гарри Франка Гуггенхайма (Программа «Исследования, направленные на выявление причин и путей предотвращения насилия, агрессии и доминирования»), а также стипендию Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртур по программе «Мир и безопасность». Не будь их доверия к моей работе и их поддержки, которые позволили мне на время отложить всякую административную и преподавательскую работу, я и теперь еще не закончил бы это исследование.

Наконец, я хочу поблагодарить моих коллег в Нидерландах, в Амстердамской школе социальных исследований, за предоставленную мне возможность прочесть шестую ежегодную Вертхеймовскую лекцию: Яна Бремана, Брэма де Сваана, Ханса Зонефельда, Отто ван ден Мюзенберга, Антона Блока, Рода Айя, Розеанн Руттен, Йоханна Гудсблома, Яна Виллема Дуйвендака, Идо Хана, Йоханна Хелиброна, Хосе Комена, Карин Пеперкамп, Нильса Мулдера, Франца Хускена, Бена Вита, Яна Недервеена Питерса, Франца фон Бенда-Бекмана и Кебет фон Бенда-Бекман. Мне посчастливилось встретиться там с Вимом Вертхеймом, которого я всегда высоко ценил за его вклад в теорию социальной науки и изучение Юго-Восточной Азии, и воспользоваться его советами и замечаниями. От аспирантов, участников моего тамошнего семинара, я узнал не меньше, чем они от меня; Талья Поттерс и Пир Сметс любезно прочли и критически проанализировали мою главу по городскому планированию.

Есть немало исследователей, чьи работы открыли для меня новые перспективы или всесторонний анализ проблем, за изучение которых я сам не мог бы взяться. Некоторые из них не видели эту работу, с кем-то я никогда не встречался, а кое-кому, вероятно, не понравилось быто, что я написал. Рискну, однако, заявить, что я глубоко им всем обязан: Эдварду Фридману, Бену Андерсону, Майклу Адасу, Теодору Шанину, Джеймсу Фергюсону и Зигмунту Бауману.

Я не написал бы главу про высокомодернистский город, не заимствуя бессовестно понимание этих процессов из прекрасной книги Джеймса Холстона о Бразилиа. Глава про советскую коллективизацию и ее связь с индустриальным сельским хозяйством в Соединенных Штатах многим обязана работе Шейлы Фицпатрик и Деборы Фицджералд. Я благодарю Шейлу Фицпатрик за ее взыскательные замечания, лишь немногие из которых нашли должное отражение в окончательном варианте этой главы.

Разработкой концепции метиса я обязан Марселю Детьенну и Жану-Пьеру Фернану. При всех различиях в терминологии Стивен Марглин и я неведомо друг для друга шли разными путями к одной и той же цели. Благодаря Фонду Рокфеллера Марглин организовал конференцию «Экономика зеленеет» в Белладжо, в Италии, где я впервые имел

возможность представить некоторые свои главные идеи, а также испытать влияние работ Марглина об «episteme» и «techne», а также о сельском хозяйстве, Проницательные замечания Стивена Гудмана, работа Фредерика Аипффела Марглина «вариоляции», работа Аруна Агравала и комментарии к ней помогли сформулировать мое понимание практического знания. Глава 8, посвященная сельскому хозяйству, носит отпечаток всего, что я узнал из работы Пола Ричардса и Яна Дауве ван дер Плюга. Как африканист я, не более, чем любитель, и глава о деревнях уджамаа в Танзании многим обязана Джоэлу Гао Хизе, который написал блестящую диссертацию по этому предмету в Йельском университете и великодушно поделился пространными материалами своего исследования. (Он сейчас заканчивает диссертацию по антропологии в Университете Калифорнии в Беркли.) Брюс Макким, Рон Аминзаде, Горан Хайден, Дэвид Сперлинг и Аллан Айзекман, прочитавшие главу о Танзании, спасли меня от некоторых грубых ошибок, хотя кое-что, конечно, осталось, несмотря на все их усилия. Прекрасный анализ Биргит Миллер роли «ремесленников и торговцев» в восточногерманской фабричной экономике перед объединением помог мне понять символические отношения между запланированным порядком и неформальной жизнью.

Лэрри Лохманн и Джеймс Фергюсон прочли черновую рукопись и сделали замечания, которые чрезвычайно прояснили мое понимание и предотвратили некоторые серьезные оплошности. Несколько других хороших друзей предложили прочесть всю рукопись или ее часть, несмотря на недопустимый объем. Я постарался не обременять тех, кто делал подобные предложения с «круглыми от страха глазами» или, как мне казалось, не вполне искренне. Те немногие, кто действительно захотел с ней познакомиться, или чей притворный интерес выглядел достаточно убедительно, сделали замечания, которые оказались важны для окончательного облика книги. Я очень многим обязан и благодарен Рону Херрингу, Рамачандра Гуха, Зигмунту Бауману, К. Шиварамакришнану, Марку Лендлеру, Аллану Айзекману и Питеру Вандергисту.

Многие коллеги делали полезные замечания или обращали мое внимание на работы, которые помогли мне в совершенствовании собственных аргументов и доказательств. Я благодарю за это Арджуна Аппадурая, Кена Алдера, Грегори Касзу, Дэниела Голдхагена, Эриха Голдхагена, Питера Пердю, Эстер Кингстон-Манн, Питера Салинса, Анну Селения, Дуга Галлона и Джейн Мансбридж. Я также благодарю Сугата Бозе, Эла Маккоя, Ричарда Ландеса, Глорию Рахеджу, Кирен Азиз Ходри, Джес Гильберт, Тончая Винихакуля, Дэна Келлихера, Дэн Литтла, Джека Клоппенберга, Тони Гулиелми, Роберта Ивенсон и Питера Салинса. Большую помощь оказали мне Адам Эшфорт, Джон Техранян, Майкл Квасс, Джесси Рибот, Эзра Сулейман, Джим Бойс, Джеф Бурде, Фред Купер, Энн Столер, Атул Коли, Орландо Фигес, Анна Цинг, Вернон Руттан, Генри Бернштейн, Майкл Ватц, Аллан Пред, Витун Пермпонгсахароен, Ген Аммарелл и Дэвид Фини.

В последние пять лет Программа аграрных исследований в Йеле была для меня полем широкого междисциплинарного образования в сельской жизни и главным источником интеллектуального сотрудничества. Я получил от этой Программы гораздо больше, чем смогу когда-либо вернуть. Фактически каждая страница этой книги так или иначе связана с программой. Я воздержусь от перечисления почти пятидесяти стипендиатов-докторантов, пробывших с нами по году, но все они в большей или меньшей степени способствовали

этому предприятию. Мы пригласили их присоединиться к нам, потому что были восхищены их работами, и никто из них нас не разочаровал. Руководитель Программы аграрных исследований Марвел Кей Мансфилд был душой и сердцем этого и всех остальных начинаний, с которыми я был связан в Йеле. Это не первый случай, когда я с удовольствием говорю о своей благодарности ей; со временем эта благодарность только растет. Следует также отметить, что Программа аграрных исследований не была бы столь успешной без активности К. Шиварамакришнана, Рика Рейнганса, Донна Перри, Брюса Макким, Нины Бат и Линды Ли.

Мои интеллектуальные долги коллегам по Йелю не перечислить. Те, кого я учил — Билл Келли, Элен Сиу, Боб Хармс, Анжелик Хаугеруд, Нэнси Пелусо, Джон Варго, Кэти Кохен и Ли Ванделу, на самом деле учили меня. Среди других коллег из Йеля, оставивших свой след на полях этой рукописи, Йен Шапиро, Джон Мерриман, Хэл Конклин, Пол Ландау, Энрике Мейер, Димитри Гутас, Кэрол Роуз, Бен Кирнан, Джо Эррингтон, Чарльз Брайант и Арвид Нельсон (зарубежный стипендиат, заканчивающий диссертацию по лесоводству в Восточной Германии, послужившую исключительным источником информации об истории научного лесоводства в Германии). Аспиранты моего семинара по анархизму и совместного семинара по сравнительному исследованию аграрных обществ прочли несколько черновых глав рукописи и вынудили меня заново продумать ряд вопросов.

Настоящим благословением для меня оказались мои ассистенты, которым удалось превратить поначалу беспорядочные поиски в серьезное исследование. Без их воображения и труда я немного узнал бы о появлении постоянных фамилий, о размещении новых деревень и языковом планировании.

Здесь я имею возможность поблагодарить Кейт Стэнтон, Кассандру Мозли, Мередита Уайса, Джона Техраняна и Аллана Карлсона за их превосходную работу. Кассандру Мозли я должен не только поблагодарить, но и извиниться перед ней, потому что вся ее прекрасная работа по проекту «Управление ресурсами долины Теннесси» закончилась главой, которую я с большой неохотой, но убрал, чтобы удержать книгу в разумных границах. Я уверен, что эта глава еще найдет себе место.

Издательство Йельского университета не раз было благосклонно ко мне. Я хочу особо поблагодарить Джона Ридена, Джуди Метро, моего редактора Чарльза Гренча и лучшего редактора рукописей, с которым я когда-либо работал, Бренду Колб.

Несколько вариантов главы 1, каждый с какими-то материалами из более поздних глав, уже опубликованы: «State Simplifications: Nature, Space, and People», Occasional Paper №1, Department of History, University of Saskatchewan, Canada, November 1994; «State Simplifications», *Journal of Political Philosophy* 4, №2 (1995): 1-42; «State Simplifications: Nature, Space, and People», in Ian Shapiro and Russell Hardin, eds., *Political Order*, vol. 38 of *Nomos* (New York: New York University Press, 1996): 42-85; «Freedom Contra Freehold: State Simplification, Space, and People in Southeast Asia», in David Kelly and Anthony Reid, eds., *Freedom in Asia* (в печати); «State Simplifications: Some Applications to Southeast Asia», Sixth Annual W.F. Wertheim Lecture, Centre for Asian Studies, Amsterdam, June 1995; «State Simplifications and Practical Knowledge», in Stephen Marglin and Stephen Gudeman, eds. *People's Economy, People's Ecology*

(в печати).

Мне бы хотелось оставить привычку писать книги, по крайней мере на некоторое время. Если бы это можно было лечить, как злоупотребление алкоголем или никотином, думаю, я записался бы на лечение. Эта привычка уже стоила мне гораздо больше драгоценного времени, чем хотелось бы. Однако с писанием книг, как и с другими вредными привычками, дело обстоит так, что решимость бросить это занятие сначала велика, а когда признаки болезни отступают, все возвращается на круги своя. Я знаю, что Луиза и наши дети, Миа, Аарон и Ной, были бы только счастливы связать меня словом, пока я «чист». Я стараюсь. Господь ведаёт, что я стараюсь.

Введение

Эта книга выросла из интеллектуального отступления, которое стало таким захватывающим, что я решил вообще отказаться от моего первоначального маршрута. Совершив, казалось, необдуманный поворот, я увидел удивительный новый пейзаж и почувствовал, что направляюсь именно туда, куда надо, — это убедило меня изменить планы. Новый маршрут, я полагаю, имеет свою собственную логику. Он мог бы оказаться еще более изящным, если бы я додумался до этого с самого начала. Совершенно ясно, однако, что обходной путь, пусть и по более ухабистым и окольным дорогам, чем я рассчитывал, привел к более существенному результату. Читатель, разумеется, мог бы найти более опытного проводника, но маршрут этот так далек от протоптанных троп, что, если вы отправляетесь именно туда, вам придется согласиться на того следопыта, которого удалось найти.

Несколько слов относительно пути, по которому я не пошел. Сначала я собирался выяснить, почему государство всегда оказывалось врагом, грубо говоря, «бродяг». В контексте Юго-Восточной Азии это обещало плодотворные возможности объяснения извечно напряженных отношений между кочевыми народами гор, использующими подсечно-огневую систему земледелия, с одной стороны, и производителями риса-сырца, жителями долин, с другой. Вопрос, однако, вышел за рамки региональной географии. Кочевники и скотоводы (вроде берберов и бедуинов), охотники-собиратели, цыгане, бродяги, бездомные, странники, беглые рабы и крепостные всегда были занозой в теле государств. Государственные проекты по переходу этих кочевых народов к устойчивой оседлости, превращались в постоянно действующие, в частности, потому, что их редко удавалось реализовать.

Чем больше проектов по закреплению оседлости я исследовал, тем больше видел в них попытку государства сделать общество более понятным, организовать население так, чтобы упростить государству исполнение его классических функций — сбора налогов, обеспечение воинской повинности и предотвращение волнений. Начав двигаться в этих понятиях, я увидел в «прозрачности» общества для взгляда государства центральную проблему государственного управления. В эпоху премодерна государство было во многих важных отношениях слепым: оно совсем мало знало о своих подданных — об их благосостоянии, землях и урожаях, местонахождении, да даже и о том, кто они вообще такие. Государство нуждалось в чем-нибудь вроде детальной «карты» своих земель и людей. А главное, не доставало меры — метрики, которая позволила бы ему «переводить» то, что оно знало, в некий общий стандарт, необходимый для обозрения. Поэтому вмешательства государства в жизнь подданных были часто непродуманными и губительными.

Тут-то и началось отступление от первоначально выбранного пути. Каким образом государство постепенно приобрело власть над своими подданными и средой их обитания? Внезапно такие разные процессы, как создание постоянных фамилий; стандартизация мер и весов, учреждение земельного кадастра и перепись населения, изобретение права

собственности на землю, стандартизация языка и правовых норм, проектирование городов и организация транспорта, становились понятными как стремление к простоте и ясности. В каждом случае чиновники имели дело с исключительно сложными и невнятными местными социальными практиками — с обычаями землевладения или способами наименования — и создавали стандартную схему, посредством которой можно было бы централизованно регистрировать и прослеживать их действие.

Организация природного мира не составила исключения. В конце концов, сельское хозяйство есть радикальная реорганизация и упрощение флоры ради достижения целей человека. Каковы бы ни были другие цели проектов научного лесоводства и сельского хозяйства, проектов размещения и устройства плантаций, колхозов, деревень уджамаа и стратегических поселений, все они казались направленными на то, чтобы сделать территорию, производство и рабочую силу более доступной обзору, а следовательно, и управлению сверху и из центра.

Здесь может оказаться полезной аналогия с пчеловодством. Во времена премодерна сбор меда был трудным делом. Собираение меда обычно было связано с выселением пчел, и даже если их размещали в соломенных ульях, часто пчелиная семья при этом гибла. Устройство помещений для расплода и ячеек меда было сложным, менялось от улья к улью, что не учитывалось во время извлечения меда. Современный улей решает эти проблемы пчеловода. С помощью так называемой «маточной разделительной решетки» помещения для расплода отделяются от запасов меда, не позволяя матке откладывать больше определенного количества яиц. Кроме того, восковые ячейки аккуратно расположены в вертикальных рамках, по девять-десять в коробке, что позволяет легко извлекать мед, воск и прополис. Выемка стала возможной благодаря соблюдению «пчелиного пространства» — точно рассчитанного зазора между рамками, который пчелы оставляют свободным для прохода, не соединяя рамки между собой сотами. С точки зрения пчеловода, современный улей, упорядоченный и «доступный наблюдению», позволяет следить за состоянием семьи и матки, судить о ее продуктивности (по весу), изменять размер улья на стандартные единицы, перемещать его на новое место, а, главное, не извлекать чрезмерное количество меда (в умеренном климате), чтобы обеспечить успешную зимовку пчелиной семьи.

Не хотелось бы распространять эту аналогию дальше, чем следует, но многое из эпохи раннего модерна в европейском искусстве управления государством кажется мне очень похожим: рационализация и стандартизация, перевод сложного и причудливого социального иероглифа в наглядный и административно более удобный формат. Введенные таким образом социальные упрощения не только позволяли более точно наладить сбор налогов и исполнение воинской повинности, но и вообще значительно расширили возможности государства. Они сделали возможными вмешательства государства в жизнь граждан с самыми разными целями, такими, как санитарные мероприятия, политический надзор или помощь бедным.

Эти государственные упрощения, основная данность в управлении государством с начала Нового времени, были, как я начал понимать, довольно похожи на упрощенные планы местности. Они представляли не истинную деятельность общества, которое изображали (не для этого были предназначены), а только тот срез ее, который интересовал официального

наблюдателя. И это были не просто карты: соединенные с государственной властью, они позволяли многое переделать в той действительности, которую изображали. Так, государственный земельный кадастр, созданный для определения подлежащих налогообложению земельных собственников, не просто описывает систему землевладения, а создает такую систему благодаря способности придавать своим категориям силу закона. В гл. 1 я пытаюсь показать, насколько всеобъемлюще общество и окружающая среда были переделаны наглядными государственными картами.

Этот взгляд на управление государством эпохи раннего модерна не особенно оригинален, но, соответственно измененный, он позволяет рассмотреть множество примеров колоссальных неудач в развитии беднейших стран третьего мира и Восточной Европы.

Неудача — слишком легковесное слово для бедствий, которые я имею в виду. «Большой скачок» в Китае, коллективизация в России и принудительное собирание людей в деревни в Танзании, Мозамбике и Эфиопии занимают свое место среди великих человеческих трагедий XX в. по числу утраченных и непоправимо разрушенных жизней. На менее драматичном, но гораздо более привычном уровне история развития третьего мира погребена под завалами грандиозных сельскохозяйственных и градостроительных проектов (таких, как Бразилиа или Чандигарх), в которых пострадавшей стороной оказались их жители.

Не так уж трудно, увы, понять, почему так много человеческих жизней было разрушено столкновениями между этническими группами, религиозными сектами или языковыми общинами. Труднее уяснить, почему так много хорошо задуманных систем улучшения условий человеческого существования развивалось столь трагически неудачно. На последующих страницах я намерен дать убедительный логический анализ причин, лежащих в основе краха некоторых великих утопических социальных проектов XX в.

Я собираюсь доказать, что наиболее трагические примеры социальных проектов государства осуществляются в губительном сочетании четырех элементов, необходимых для полноты развертывания бедствия. Первый из них — административное рвение, стремящееся привести в порядок природу и общество, — описанные государственные упрощения. Сами по себе они лишь ничем не примечательные инструменты современного управления государством, столь же необходимые для обслуживания нашего благосостояния и свободы, как и для проектов потенциального современного диктатора. Они поддерживают концепцию гражданства и условия социального благосостояния, но могли бы поддерживать и политику заключения нежелательных меньшинств в концлагеря.

Второй элемент — это то, что я называю идеологией высокого модернизма. Это наиболее мощная, можно даже сказать, чрезмерно мускулистая версия веры в научно-технический прогресс, расширение производства, возрастающее удовлетворение человеческих потребностей, господство над природой (включая и человеческую) и, главное, в рациональность проекта социального порядка, выведенного из научного понимания естественных законов. Конечно, она сложилась на Западе как побочный продукт беспрецедентного прогресса науки и промышленности.

Высокий модернизм не нужно путать с научной практикой. Это существенно, поскольку термин «идеология» подразумевает веру, которая занимает место учета закономерностей науки и техники, как это и было в действительности. В результате вера была не критической, не скептической и, соответственно, ненаучно оптимистической относительно возможностей всеохватного планирования человеческого расселения и производства. Носители идеологии высокого модернизма были склонны видеть рациональный порядок в наглядных визуальных эстетических терминах. Для них эффективный, рационально организованный город, деревня или ферма был поселением, которое *выглядело* упорядоченным в геометрическом смысле. Носители идеологии высокого модернизма, планы которых терпели неудачу или им мешали, отступали в направлении того, что я называю миниатюризацией: к созданию легче управляемого микропорядка в образцовых городах, образцовых деревнях и образцовых фермах.

Высокий модернизм относился к «интересам» так же, как к вере. Его носители (даже если они — капиталистические предприниматели) совершали требуемые государством действия, чтобы реализовать его планы. В большинстве случаев это были крупные должностные лица и главы государств. Они отдавали предпочтение некоторым формам планирования и социальной организации (огромные дамбы, централизованная связь и транспорт, большие фабрики и фермы, города, выстроенные по упорядоченной схеме), потому что эти формы были удобны для них как носителей идеологии высокого модернизма, а также отвечали их политическим интересам как государственных чиновников. Имелось, мягко говоря, избирательное сродство между высоким модернизмом и интересами многих официальных лиц.

Подобно любой идеологии, высокий модернизм имел специфический временной и социальный контексты. Подвиги национальной экономической мобилизации воюющих сторон (особенно Германии) в мировой войне, мне кажется, иллюстрируют его высочайшие достижения. Это и неудивительно: наиболее плодородная социальная почва высокого модернизма и должна состоять из проектировщиков, инженеров, архитекторов, ученых и техников, чьи навыки и положение используются для проектирования нового порядка. Вера в высокий модернизм не требовала никакого пересмотра традиционных политических границ; его представителей можно было найти в политическом секторе от левого крыла до правого, но особенно часто они попадались среди тех, кто хотел использовать государственную власть, чтобы вызвать огромные утопические изменения в народных привычках — привычках работы, образе жизни, моральном поведении и взгляде на мир. Само по себе это утопическое видение не было опасным — там, где оно одушевляло планы дальнейшей жизни в либеральных парламентских обществах, где планировщики должны были договариваться с организованными гражданами, оно могло подталкивать реформы.

Только когда к этим первым двум элементам присоединяется третий, сочетание становится смертельно опасным. Третий элемент — это авторитарное государство, которое желает и способно использовать всю свою власть, чтобы воплотить в жизнь упомянутые высокомодернистские проекты. Наиболее подходящее время для этого — войны, революции, депрессии и борьба за национальное освобождение. В таких ситуациях чрезвычайные обстоятельства способствуют узурпации чрезвычайных полномочий и часто делегитимизируют предыдущий режим. Для этих периодов характерно, что к власти

приходят такие элиты, которые отрекаются от прошлого и предлагают людям революционные проекты.

Четвертый элемент, тесно связанный с третьим, — обессиленное гражданское общество, неспособное сопротивляться этим планам. Война, революция и экономический крах резко ослабляют гражданское общество и повышают восприимчивость народных масс к идее передела собственности. Позднее колониальное правление с его социально-техническими стремлениями и способностью управлять популярной оппозицией с помощью грубой силы иногда оказывалось способным выполнить это последнее условие.

Подытоживая, скажем: просматриваемость общественной конструкции создает условия для крупномасштабной социальной перестройки, идеология высокого модернизма заставляет желать ее, авторитарное государство обеспечивает готовность действовать в соответствии с этим желанием, а выведенное из строя гражданское общество позволяет выровнять социальный ландшафт, чтобы на нем строить все заново.

Я еще не объяснил, почему высокомодернистский план, поддержанный авторитарной властью, на практике терпел неудачу. Объяснение неудачи — моя вторая цель.

Разработанный и спланированный социальный порядок схематичен — он всегда игнорирует существенные черты любой реальности, любого функционирующего социального порядка. Этот факт легче всего проиллюстрировать забастовкой того типа, которая называется «соблюдать правила»: она основана на том, что любой процесс производства зависит от неформальных методов и импровизаций, которые никогда не смогут быть кодифицированы. Просто скрупулезно придерживаясь правил, рабочие могут фактически остановить производство. Точно так же упрощенные правила воплощения планов, скажем, города, деревни или колхоза не годились в качестве набора инструкций для создания функционирующего социального порядка. Формальная схема паразитировала на неформальных процессах, создавать или поддерживать которые она сама не могла. Подавление этих неформальных процессов означало провал: терпели неудачу те, для счастья которых был задуман этот проект, а в конечном счете и сами проектировщики тоже.

Многое в этой книге можно счесть направленным против *империализма* того высокого модерниста, который запланировал определенный социальный порядок. Я подчеркиваю здесь слово «империализм», потому что не выступаю против всякого бюрократического планирования или вообще против идеологии высокого модернизма. Я выступаю против имперского или гегемонического менталитета планирования, который исключает необходимую роль местного знания и умения.

Везде в книге я подчеркиваю роль практического знания, неформальных процессов и импровизаций в живом непредсказуемом развитии. В главах 4 и 5 я противопоставляю высокомодернистские взгляды и методы, с одной стороны, городских проектировщиков и революционеров, а с другой — их критиков, подчеркивая сложность и неоконченность любых процессов. Типичными представителями высокого модернизма выбраны Ле Корбюзье и Ленин, а Джейн Джекобс и Роза Люксембург представляют их убедительных критиков. Главы 6 и 7, содержащие анализ советской коллективизации и танзанийской

принудительной виллажизации, показывают, что схематичное авторитарное решение о производстве и социальном порядке неизбежно терпит неудачу, когда оно игнорирует ценное знание, воплощенное в местных методах. (В ранней версии анализировался еще проект «Управление ресурсами долины Теннесси» — высокомодернистский эксперимент Соединенных Штатов, дедушка всех региональных проектов развития. Я вынужден был изъять этот материал, чтобы сократить эту все еще слишком длинную книгу.)

Наконец, в главе 9 я пытаюсь осмыслить природу практического знания и противопоставить его более формальному дедуктивному, эпистемическому знанию. Слово *метис*, восходящее к классической Греции и обозначающее знание, которое можно получить только из практического опыта, служит для пояснения того, что я имею в виду.

Здесь я должен также подтвердить свой долг авторам-анархистам (Кропоткин, Бакунин, Малатеста, Прудон), которые последовательно подчеркивали роль взаимности социального действия в создании социального порядка в противоположность обязательной иерархической координации. Их понимание термина «взаимность» покрывает некоторые, но не все смысловые оттенки, которые я хочу охватить понятием «метис».

Похоже, что радикально упрощенные проекты социальной организации подвержены риску неудачи не меньше, чем проекты радикального упрощения окружающей среды. Неэффективность и уязвимость монокультурных коммерческих лесов и генетически программируемой, механической монокультурности аналогичны неудачам коллективных хозяйств и спланированных городов. В связи с этим я здесь отстаиваю жизнеспособность социального и природного разнообразия и подробно показываю принципиальную ограниченность нашего знания о функционировании сложных систем. Эту аргументацию, вероятно, вполне можно было бы обратить и против упрощения социальной науки. Но я уже и так ухватил больше, чем смогу одолеть, так что этот путь вместе с моим благословением оставляю другим.

Я понимаю, что, пытаясь создать иную парадигму рассмотрения подобных вопросов, рискую проявить гордыню, в которой — и справедливо — обвиняют высоких модернистов. Изготовив линзы, изменяющие глубину твоего видения проблемы, испытываешь большое искушение посмотреть через те же самые очки и на все остальное. Однако два возможных обвинения хочу все же решительно отвести и полагаю, что внимательное чтение книги мне в этом поможет. Первое — обвинение в том, что я некритически восхищаюсь всем местным, традиционным и общепринятым. Я понимаю, что описываемое здесь практическое знание часто трудно отделить от практик доминирования, монополизации и отчуждения, задевающих чувства современных либералов. Я вовсе не утверждаю, что практическое знание есть продукт некоего мифического эгалитарного состояния природы. Я лишь полагаю, что формальные схемы порядка не работают без некоторых элементов практического знания, от которых они как раз и пытаются избавиться. Второе обвинение состоит в том, что вся моя аргументация — это анархистский протест против государства как такового. Как будет далее показано, государство — институт неоднозначный, лежащий в основе как наших свобод, так и наших несвобод. Я утверждаю, что некоторые типы государства, руководствующиеся утопическими планами и авторитарно игнорирующие ценности, желания и протесты своих граждан, представляют смертельную угрозу

человеческому благосостоянию. За пределами таких страшных, но уже ставших вполне обычными ситуаций нам остается лишь каждый раз тщательно взвешивать, насколько полезно в данном случае вмешательство государства и чего оно будет стоить.

Уже закончив книгу, я понял, что изложенная в ней критика определенных форм государственного правления с позиций восторжествовавшего после 1989 г. капитализма может показаться некой причудливой археологией. Государства с претензиями и властью, которые я критикую, либо вовсе исчезли, либо резко сократили свои амбиции. И все же, как будет показано на материале научно обоснованного фермерства, индустриального земледелия и капиталистических рынков вообще, крупномасштабный капитализм — точно такое же средство гомогенизации, усреднения, схематизации и решительного упрощения, как и государство, с той разницей, однако, что для капиталиста упрощения обязаны окупаться. Рынок с необходимостью сводит качество к количеству через механизм ценообразования и способствует стандартизации; на рынке говорят деньги, а не люди. Сегодня глобальный капитализм — возможно, наиболее мощная сила гомогенизации, даже если государство в некоторых случаях выступает в защиту местных особенностей и разнообразия. (В книге «В кильватере Просвещения» Джон Грей выдвигает аналогичные обвинения в адрес либерализма, ограниченность которого он видит в том, что либерализм основывается на культурном и институциональном капитале, который сам же стремится подорвать.) Вызванная широкомасштабными забастовками задержка структурных изменений во Франции, необходимых для принятия единой европейской валюты, — лишь соломинка в стоге сена. Проще говоря, мои претензии к государству определенного вида вовсе не означают, что я ратую за политически неангажированное рыночное регулирование, как это делают Фридрих Хайек и Милтон Фридман. Мы увидим, что выводы, которые можно сделать из неудач модернистских проектов социальной инженерии, применимы к стандартизации, диктуемой рынком, в той же мере, что и к бюрократической гомогенизации.